

Л. А. Калининков

О ПРЕДШЕСТВЕННИКЕ
ПУДЕЛЯ ПОНТО,
А ЗАОДНО И КОТА МУРРА,
ИЛИ
О КАНТИАНСТВЕ
ЕСТЕСТВЕННОМ
И СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМ

Анализируется творчество Э.Т.А. Гофмана на примере новеллы «Известие о дальнейших судьбах собаки Берганца». Автор демонстрирует влияние гносеологических, этических и антропологических идей И. Канта на мировоззрение Э.Т.А. Гофмана, для которого проблема сущности человеческой природы, сущности человечности становится одной из центральных. В морали вслед за Кантом Гофман видит меру человечности.

This article analyses the works of E. T. A. Hoffmann through the example of the novel "A Report on the Latest Adventures of the Dog Berganza". The author shows the influence of Kant's epistemological and ethical ideas on the Weltanschauung of E. T. A. Hoffmann for whom the human nature and the essence of humanity became one of the central problems. Following Kant, Hoffmann considered morals the measure of humanity.

Ключевые слова: природа человека, синтетические суждения а priori, этика, мораль, благодеяние, человекоподобие, легальный поступок, моральный поступок, разум.

Key words: human nature, a priori synthetic propositions, ethics, humanlikeness, legal act, moral act, reason.

Ирония, сталкивающая человеческое с животным и тем самым выставяющая на посмеяние всю ничтожность суеты людской, — такая ирония свойственна лишь глубоким умам, и для серьезного проницательного созерцателя в гротескных созданиях Калло, в этих частию людях, частию животных, обнаруживаются все те потаенные связи, что скрыты под маскою скоморошества.

Э. Т. А. Гофман. Жак Калло

То были престранные уродливые звери, копирующие человеческие лица; то были люди в жутко искаженном виде со звериными телами — смешавшись в схватке, они бросались друг на друга, вгрызались друг в друга и, борясь, сами себя пожирали.

Э. Т. А. Гофман.

Известие о дальнейших судьбах
собаки Берганца

В творческой судьбе незавершенного романа Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра с присовокуплением макулатурных листов из биографии капельмейстера Иоганнеса Крейсlera» новелле «Известие о дальнейших судьбах собаки Берганца» принадлежит чрезвычайно значимая роль. Именно здесь перед Гофманом впервые предстала проблема *природы человека* как важнейшая и глубочайшая художественно-философская проблема. В новелле писатель лишен был возможности сколь-либо основательного ее решения не столько из-за ограничения жанром, сколько из-за необходимости следовать художественной и идейной манере Мигеля Сервантеса де Сааведра — это объяснится из последующего. И само вызревание проблемы, и художественное воплощение ее решения, подсказываемое философско-этическими воззрениями Канта, было еще впереди. Но в душе процесс был запущен...

Влияние Сервантеса сплелось в одно целое с интересом к творчеству Жака Калло: Гофман нашел у них созвучные ноты, вызывающие резонанс в его собственном сознании, ноты содержательные, продолженные в формально-стилевом родстве барочной атмосферы живописи ли, графики ли или литературы.

Листы графических серий Жака Калло оказали на Э.Т.А. Гофмана неизгладимое воздействие. Действительно ли Гофман познакомился с творчеством великого лотарингского графика с подсказки издателя «Фантазий к манере Калло» Карла Фридриха Кунца по Штенгелевой коллекции Бамберга или был знаком с ним ранее, а здесь, в Бамберге, лишь окончательно осознал близость своего таланта таланту Калло? Скорее всего, это именно так, ведь последняя из альтернатив ближе к истине. Возможность для более раннего знакомства у пробуящего себя художника, чрезвычайно заинтересованного изучением искусства и с рвением посещающего художественные музеи и галереи, выставки и салоны, обладавшие хорошими коллекциями, конечно, были. И та же по духу «ирония, сталкивающая человеческое с животным», что свойственна искусству Жака Калло, проявила себя в творческой натуре Гофмана задолго до Бамберга, с первых же шагов в его художественных опытах, со знаменитых карикатур на прусских чиновников познанской администрации, что вызвали ссылку художника в совсем уж захолустный Плоцк, и осталась характернейшей чертой его художественного творчества навсегда. Этот дух анималистического гротеска исходил, конечно же, не только от графических серий Жака Калло, но и являлся универсальным свойством всех комически-сатирических жанров стиля барокко, и, видимо, Гофман напивался им целенаправленно. А чтение «Назидательных новелл» Мигеля де Сервантеса Сааведра, старшего современника Жака Калло, среди которых была «Новелла о беседе, имевшей место между Сипионом и Бергансой, собаками госпиталя Воскресения Христова, находящегося в городе Вальядолиде за воротами Поединка, а собак этих обычно называют — собаки Маудеса» — подлинно барочная новелла с классически барочным названием, явно окрылило Гофмана, наглядно продемонстрировав ему возможности аллегорически-реалистического жанра с его колоссальной культурно-исторической памятью, идущей вглубь человеческой культуры, по сути дела вплоть до эпически-тотемных сказок о животных и хтонических мифов.

В итоге и появляется первый опыт писателя в этом жанре — новелла «Известие о дальнейших судьбах собаки Берганца», опыт настолько удач-

ный и открывающий такое широкое поле художественных перспектив различного рода, что Гофман никогда уже не выпускал его из поля зрения, расширяя этот опыт и постоянно к нему возвращаясь. Даже блоха стала у него аналитиком человеческой души и социальных отношений, разъясняя их простодушному Перегринусу Тису из «Повелителя блох». Сам же Эрнст Теодор Амадей Гофман превратился в подлинного «повелителя» *кошачества, собачества, блошачества* и иже с ними.

И сам очерк «Жак Калло», открывающий издание «Фантазий...», неслучайно был написан в одно и то же время — весной 1813 г. — с новеллой на тему Сервантеса. Видимо, автор «Назидательных новелл» убедил Гофмана назвать готовящийся сборник в честь Жака Калло, а не Уильяма Хогарта, творчеству которого чужда как аллегория, так и, особенно, анималистика.

Учитель и ученик — Мигель де Сервантес Сааведра и Эрнст Теодор Амадей Гофман

Ты, подражатель, творишь лишь в пределах готовых творений,
Гения творческий дух зрит и в твореньях руду.

Ф. Шиллер. Подражатель

В «Известии о... судьбах собаки Берганца»¹ Гофман по необходимости, вызванной его замыслом, вынужден был занять ту же позицию касательно достоинств людей и собак, что и Сервантес. Великий автор «Дон Кихота» приближал своим творчеством грядущее Просвещение, исходя из убеждений, что все живое, венчаемое человеком, вышло из творящих рук природы естественным, чистым, изначально предрасположенным к нормальному, правильному образу жизни. Оно не может иметь ни физических, ни, тем более, моральных изъянов, так как с ними просто-напросто нельзя было бы выжить. Из лона матери-природы, а уж если допустить, что вместе с самой этой природой и весь мир живого создан духом всеблаготворного Творца, любое живое существо, и человек в том числе, выходит здоровым, полным сил, приспособленным к естественным условиям своего бытия, с которыми обязательно находится в полнейшей гармонии.

Но что же мы видим из беседы двух наделенных Мигелем Сервантесом речью (разумом они обладают природным!) собак, находящихся на службе госпиталя Воскресения Христова в городе Вальядолиде? Природою определена бессловесность животных, и вдруг они заговорили! Удивляющийся своей противоестественной способности Берганса обращается к другу: «Брат Сипион, я слышу, что ты говоришь, знаю, что сам говорю, и не смею этому верить и все думаю: ведь уже одно то, что мы разговариваем, нарушает все законы природы». Сипион соглашается, конечно же, и говорит в ответ, что и ему «никогда не приходилось ни видеть, ни слышать, чтобы какой-нибудь слон, собака, лошадь или обезьяна (предварительно он представил их в такой последовательности по степени разумной сообразитель-

¹ Берганса и Сипион — таково произношение этих имен по-испански, т. е. у Сервантеса; латинская форма их, используемая Гофманом, — Берганца и Сципион. Поэтому читатель не должен удивляться, встретившись с разночтением.

ности. — Л.К.) разговаривали, из чего я заключаю, что этот неожиданно пожалованный нам дар речи относится к разряду явлений, называемых чудесными знаменами...» [11, с. 971]. Собаки, как им и положено, естественно чисты, а потому благородны и нравственны, добродетельны и в своей добродетели активны. Они даже жертвуют своими интересами — вкусным куском, устроенностью жизни и покоем — ради торжества естественного и правильного порядка, при котором предпочитают жить. Люди же, у которых им довелось оказаться на службе, жадны, вороваты, жуликоваты, похотливы и развратны, готовы на любую подлость ради своих низменных страстей. До торжества справедливости, до утверждения в жизни права и морали им нет ни малейшего дела. Даже те, кто по долгу службы призван эти добрые нравы насаждать, стоять на страже заведенного мирового порядка, предстают на деле еще большими преступниками, не знающими ни чести, ни совести, подлинными «оборотнями» (не важно, носят они погоны или нет).

Что же является причиной такого поворота дел? Почему не хотят или не могут люди пользоваться великим своим благом — разумом? Сервантес оставляет этот вопрос без ответа. Однако одно становится совершенно понятно: природа здесь абсолютно ни при чем. Собаки ведь с момента появления на земле стали разве что только лучше!

Гофман явно устроил свою встречу с Берганцой в честь Мигеля де Сервантеса Сааведра, предоставив возможность псу прожить еще ровно 200 лет и поручив это удивительное дело воле небес, как не обошлось без этой воли и при получении совершенно нежданного дара речи собаками, — новелла прусского ироника увидела свет в 1813 г., как раз к 200-летию юбилею «Надзирательных новелл» Сервантеса. Берганса еще в своей испанской бытности обнаруживал и интерес, и незаурядные познания по части поэзии и театра: как-никак, а он не просто носил во рту *vadetesum* хозяйского сына в школу, но имел возможность целый семестр слушать лекции профессоров-наставников одного из иезуитских колледжей, известно же, что Общество Иисуса содержало свои школы в образцовом порядке, подбирая первоклассных учителей. В придачу пес довольно долго общался с поэтом, пробовавшим свои силы в драматургии, так вот с Берганцой как со знатком по этой части Гофману было очень интересно побеседовать о театрально-поэтических сюжетах теперь уже в Германии, раз уж судьбе угодно было занести бульдога далеко на север от его родины. К тому же Берганца значительно повзрослел и набрался новых знаний и опыта.

Как позже спасен будет котенок Мурр и дарована ему его выдающаяся творческая жизнь, так оказался спасенным и Берганца, и первые же речи его оказались чрезвычайно философичными, что и неудивительно в его-то возрасте: «Мне кажется, — начал он глухим, чуть слышным голосом, — мне кажется, что ты послан небом для вящего моего утешения, ибо ты вызываешь у меня доверие, какого я не знал уже давно! И даже вода, которую ты принес, чудесным образом освежила и подбодрила меня, будто она заключает в себе совершенно особую силу. Если же теперь я позволю себе говорить, то для меня будет облегчением вдосталь наговориться на людской манер о моих горестях и радостях, ведь ваш язык, видимо, для того и предназначен, чтобы внятно излагать события словами, придуманными для столь многих предметов и явлений на свете, хотя касательно внутренних состояний души и вытекающих отсюда всевозможных отношений и соче-

таний с вещами внешними, то, как мне сдается, для выражения оных и моего ворчанья, рычанья и лая, настроенных на тысячу ступеней и ладов, не менее, если не более достаточно, чем ваших слов, и нередко, не будучи понят на своем собачьем языке, я полагал, что дело тут скорее в *вас*, ибо вы не стремитесь меня понять, нежели во *мне*, не сумевшем выразиться подобающим образом» [2, с. 96]. Так мимоходом Берганца затрагивает проблему языка субъективных чувствований и переживаний и объективного языка (служащего для описания состояния внешних вещей и явлений), связанную с природой языка и его происхождением, в первые десятилетия XIX в. бывшую весьма злободневной и, без сомнения, интересующую Гофмана.

Позиция Сервантеса в этом вопросе оказалась соответствующей намерениям самого Гофмана. Собаки у Сервантеса свой таинственный дар речи объяснили чудесным вмешательством в дела природы свыше, усмотрели волю небес: ведь природа наделила речью только человека; а люди, по крайней мере некоторые, необычайную понятливость — разумность — собач сочли необходимым приписать преисподней, проделкам колдуньи, наделенной дьяволом всеми силами волшбы и магии. Сервантесу, этому мудрому «рыцарю печального образа», хотелось вразумить людей, хотелось показать, какие же реальные социальные явления стоят за всеми этими суевериями, влекущими за собой страшные в своем садизме костры, истребившие в XVI в. тысячи женщин.

Гофман увидел у Сервантеса то же самое «двоемирие», которое выросло в суть его мировоззрения, и в данном случае воспользовался Сервантесовым «двоемирием», сотворив уникальное в своем роде произведение-симбиоз, в котором полным смыслом обладает лишь органическое единство, составленное из *трех* новелл: из двух новелл Мигеля Сервантеса («Обманная свадьба» и «Новелла о беседе собак...») и новеллы Э. Т. А. Гофмана. Это уже не обыкновенная коннотация к предшествующему произведению, давно и прочно закрепившемуся в сознании поколений читателей, но вполне удавшаяся, что бывает крайне редко, попытка продолжить хорошо известную историю известного героя с таким проникновением в его характер и обстоятельства, что в итоге оказалось созданным на основе уже имевшегося новое целое — новое самостоятельное произведение, у которого два соавтора, хотя один моложе другого на целых двести лет. Сейчас вполне очевидно, что метатекст, который было бы естественно назвать «Беседы собаки Берганца», выстраивался вполне сознательно: этим актом Гофман выражал свою благодарность великому испанскому гению за науку, отозвавшуюся массой замыслов, прекрасно понимая в то же время, что нет никакой нужды обращать на это внимание читателя, если он не видит этого сам.

Особую роль для вновь возникшего (собирался написать: для вновь *созданного*, но вновь-то созданного лишь частично, только на одну треть) произведения играет факт возвращения к событиям, завершившим сервантесовскую часть. Такое обращение вспять служит прочному скреплению двух частей единого целого. Как ни странно, но поэтический реалистический мир барочной новеллы Сервантеса и художественный мир переросшего романтизм Гофмана органически срастаются тождественным в своем сродстве существом. Это сродство вырастает из нутряной природы искусства, которую Сервантес выявляет самой своей сутью поэтического гения, исполненного пафосом просветительства; а Гофман в придачу к этому осознанно опирается в творчестве на философию и философию искусства

Канта, определившего ценностно-оценочную функцию художественно-эстетического сознания как такового. Оба они удивительным образом по художественной своей натуре склонны осуществлять оценку реальности, сопоставляя ее не непосредственно со своим ценностным идеалом, а с его антиподом, антиидеалом, сквозь призму которого идеал подлинных ценностей обоих писателей предстает со всей определенностью.

Мир колдовства и ведьмовства народных суеверий XVI — начала XVII в., как и борьба с ними католической церкви при опоре на Орден Иисуса на той же самой суеверной почве, и мир реальных социальных явлений, стоящий за мистическими верованиями, — это двоемирие Сервантеса — встречаются с колдовским и волшебным миром романтиков конца XVIII — начала XIX в., исходящим на сей раз не из суеверий темного неграмотного народа, а из изощренной идеалистической философии тождества фихтеанского или шеллингианского толка, и миром природных и психологических реальностей. И Гофман делает все от него зависящее, чтобы приблизить свою художественную дуальную структуру к аналогичной структуре Мигеля Сервантеса. Оба первых, идеальных мира, возникших под перьями «наших соавторов», могут быть сближены с миром фантазий в духе Калло, что Гофман и делает. «Манера» Калло, по сути дела, объединяет обоих. Но связующим звеном, как бы переходным мостом между ними стал Мигель де Сервантес Сааведра.

Уж не колдун ли Кант?

Сначала мысль воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная, темна
Для невнимательного света...
Е. Баратынский, 1837 г.

Для органической связи двух частей нового художественного симбиоза необходимо, как уже говорилось, вернуться к моменту, на котором действие первой части остановилось; и Гофман заставляет Берганцу рассказать об итоге его встреч с обществом колдуний и ведьм. Трезво и реально мыслящий пес не говорит прямо, но дает понять вдумчивому и внимательному собеседнику, что ни в какое колдовство, ни в какую способность к превращению, подобную «метаморфозам» Овидия, он не верил и не верит и прежде всего стремился своего старого собеседника, а им, как известно от Сервантеса, был другой пес — Сишион, едва ли не превосходящий Бергансу по части опыта и трезвости мысли, научить видеть подлинную реальность, ее изнанку, а не поверхность, не кажимость. Это лишь кажется, что в полях и лесах Кастилии, например, водится множество волков, приносящих большой урон овечьим стадам. На самом деле волки-то двуноги: плуты-пастухи работают почище настоящих волков. Лишь кажется, что имеешь дело с колдуньями и ведьмами, а на деле это несчастные, потерянные для общества, в подавляющей части вынужденные заниматься проституцией женщины, совершенно темные и суеверные, но приобретшие по необходимости и большой опыт во всевозможных извращениях, плутнях, галлюциногенных варевах, наркотиках и тому подобном...

Старуха Каньисарес, встреченная Бергансой в госпитале Вальядолида и слышущая ведьмой, да и сознающая себя таковой, поскольку относится к описанной касте людей, разъясняла, что колдуньи — это те, чье волшебство касается и других людей, кто обладает как целебными силами, так и возможностями порчи, кто способен даже к метаморфическим превращениям людей в животных или даже в неодушевленные предметы, как и наоборот; ведьмы же ублажают только самих себя, ввергая себя в самые извращенные и запретные удовольствия. Колдуньей, под властью которой оказалась в свое время сама Каньисарес вместе с подругой Монтъелой, в новелле Сервантеса является Камача Монтильская, повитуха и сводня, за чьей спиной, конечно же, стоит сутенер со своей шайкой. Способности этой колдуньи Берганса со слов Каньисарес описывал так:

Она... доставляла людей из самых далеких стран; чудесным образом врачевала девиц, допускавших неосторожность в соблюдении своего целомудрия; укрывала вдов таким образом, что они с пристойностью могли вести себя непристойно; разводила замужних и женила всех, кого хотела; в декабре у нее в саду цвели розы, а в январе она убирала с поля свой хлеб. Вырастить салат в квашне было для нее таким же пустячным делом, как показать в зеркале или на ногте младенца живых и покойников, которых ее просили вызывать. Про нее ходила молва, что она превращает людей в животных и что у нее под видом осла самым настоящим и подлинным образом прослужил шесть лет один ризничий. Я, — продолжала Каньисарес, — никак не могла понять, как это делается, потому что весьма сведущие люди уверяют, будто все рассказы про древних волшебниц, превращающих людей в животных, обозначают только то, что они своей необыкновенной красотой или своими ласками старались влюбить в себя мужчин и покорить их в такой мере, что те, подчинившись их желаньям, начинали походить на скотов!

Но относительно тебя, дитя мое, опыт подсказывает обратное: мне известно, что ты — существо, одаренное разумом, а между тем я вижу тебя в образе пса. Возможно, впрочем, что тут замешалась наука по названию магия, силою которой одна вещь начинает походить на другую. Как бы там, однако, ни было, мне все-таки очень горько, что ни я, ни твоя мать (а мы — ученицы старой Камачи) не могли приобрести таких знаний, какие были у нее, и не по недостатку дарований, смелости и смелости (у нас их было скорее много, чем мало), а из-за чрезмерного лукавства старухи, ибо она ни за что не хотела обучить нас самому главному и все берегла про себя» [11, с. 997].

Уже в этом сравнительно небольшом отрывке видно, как причудливо сплетаются в сознании бедной старухи два мира: фантастический и реальный — в трудно осознаваемое единство, и каждый мешает осознанию подлинной природы другого. Это Камача одурманила Монтъелу, принимая у нее роды, и убедила ее, что та родила двух щенят. Дети, без сомнения, были проданы. Как ясно из вышесказанного, Каньисарес, встретив чрезвычайно разумного пса, решила, что перед ней находится один из заколдованных несколько лет назад сыновей Монтъелы, которому она тут же и дала имя Монтъель и, ни секунды не колеблясь, приняла решение употребить все знания, силы и средства на возвращение ему человеческого образа, хотя искусством колдуньи, как мы видели, она так и не овладела.

Однако до попытки претворения этого решения в жизнь дело дошло только уже в «дальнейшей судьбе» Бергансы, в гофмановской — третьей — части симбиотического целого, возникшего благодаря творческим усилиям

Сервантеса и Гофмана. Изошренная романтическая эстетика и техника обеспечили Гофману полнейший успех в описании шабаша, устроенного Каньисарес для осуществления обряда обращения собаки в человека. По яркости красок, инфракрасному колориту, набору персонажей и дьявольско-ведьмовскому поведению сцены шабаша у Гофмана не уступают изображению Вальпургиевой ночи в горах Гарца, описанной И. В. Гёте в «Фаусте».

Именно в ходе этого обряда, направленного на свершение метаморфозы, казалось бы в самом неподходящем для трезвого кантианства месте, к тому же в устах ведьм, мелькает фундаментальный для Канта мотив синтетического *a priori*! Это один из бесподобнейших образцов гофмановской иронии, где по многозначности и многозначительности Гофман превосходит даже И. Г. Гамана. Тут и насмешка над Кантом, и вознесение его надо всем и всеми в естественно-сверхъестественные эмпирии; насмешка над усердием критиков и сочувствие им, не способным вознестись в те разреженные сферы абстракции, в которых с легкостью птицы парит Кантов дух; тут ирония даже над самим, страшно сказать, бессмертным Гёте. Ведь это Канта имеет в виду Гёте, когда устами Мефистофеля отвечает Гомункулу:

Нет, лучше верь себе лишь одному.
Где призраки, свой человек философ.
Он покоряет глубиной вопросов,
Он все громит, но после всех разносов
Заводит новых предрассудков тьму [1, с. 293–294], —

подразумевая разгром теологических идей, учиненный Кантом в «Критике чистого разума», и возвращение этих идей в качестве постулатов «Критики практического разума»¹. Гофман помещает идеи Канта в *мир призраков*, где они должны сыграть роль волшебного средства и обеспечить сверхобычную действенность, — они звучат в песни-заклинании, которую поют семь старых ведьм, ведя хоровод над вымазанным волшебными снадобьями Бергансой, сознание которого затуманено испарениями колдовского варева, мельтешением теней, ритмичным движением ведьминых грудей, рук, ног...

Слова песни, которую провизжали семь страшилищ, звучали так:

Мать несется на сове!
Слышен шум совиных крыл!
Пять и семь — прибавка сил.
Саламандры в воздух взвились,
Кобольды вослед пустились [2, с. 103]².

Вчитываясь в это пятистишие, всякий, наверное, подумает: причем тут — среди сказочной нечисти — Кант? Где же тут может быть найдена служащая критерием кантианства идея? Однако внимательный читатель «Критики чистого разума» или «Пролегоменов ко всякой будущей метафизике...» сразу же увидит в этом фантастическом тексте один из примеров ап-

¹ См. интерпретацию этой сложной и важной теоретической ситуации в моей работе [4, с. 12–26].

² Из трех строф этой песни приводится лишь предзаключительная строфа, которая и имеет отношение к Канту.

риорных синтетических суждений, который приводит Кант в двух вышеназванных гносеологических трактатах для разъяснения отличия суждений синтетических от суждений аналитических: « $5 + 7 = 12$ » [см. 10, с. 67 – В 15; 6, с. 82–83]. А тайна всей гносеологической теории Канта кроется в ответе на вопрос: *как возможны синтетические суждения a priori?*

Пять и семь – прибавка сил.

В синтетических суждениях предикат расширяет содержательную информацию, присутствующую в субъекте суждения. Для суждений эмпирических, апостериорных понятно, откуда берется дополнительное содержание – оно черпается из опыта, в научном познании – из эксперимента. А в суждениях априорных? Суждениях, создающихся нашим сознанием без и до всякого опыта? Откуда и как прирастает знание? Кант на этот вопрос отвечает, что синтетической силой обладает само наше сознание, продуцирующее *новые* связи и отношения между вещами мира посредством продуктивного воображения, что без участия этого механизма сознания никакие *связи и отношения* реального мира не могут быть нам даны. Оппоненты Канта – позитивистски настроенные философы – такую способность сознания отвергают, объявляют ее чудом, абсолютно невероятной и невозможной без волшебства силой, тогда как Кант последовательнейший противник всяких чудес.

Конечно, резонный вопрос: почему Кант избрал именно это суждение, остановившись для своего примера на числах 5 и 7? Случаен ли был его выбор? Да конечно же, нет! Кант – ироник! Он не упускает возможности поиронизировать при малейшей возможности над всякой мистикой, верой в чудеса, чертей, ведьм, ангелов... Склонность людей с легкостью отказываться от разума и получать удовольствие от перемещения себя в иррациональную пустоту, плотно населенную бесплотными призраками, в мир, где ничего от тебя не зависит, где легко, так как можно себя не контролировать, не напрягаться, самодисциплинировать себя в подчиненном порядке мире, – эта склонность людей к бездумному существованию была ему мало понятна и еще менее приятна. Есть такой великолепный инструмент, как сознание, а люди не хотят им пользоваться?

Именно поэтому обращается он к священным числам зодиака и помещает свой пример априорного синтетического суждения « $5 + 7 = 12$ » в группу других таких же синтетических суждений a priori, но уже не нагруженных никакой астрологией. Да, предикат суждения «12» несет новую, дополнительную информацию относительно субъекта суждения « $5 + 7$ », а может быть суммой $1 + 11$, $2 + 10$, $3 + 9$, $8 + 4$, $6 + 6$, чего в содержании субъекта нет. Из этого набора особую значимость имеет сумма $10 + 2$, так как наглядно демонстрирует процедуру перехода через десяток, т.е. новый разряд, характеризующийся степенью. Астрологическая мистика тут совершенно не при чем, хотя она отсылает нас не к многочисленным контекстам, подобным шиллеровскому из трагедии «Валленштейн». Здесь астролог герцога Валленштейна, Сэни, видя, что слуги ставят 11 стульев, говорит им:

Одиннадцать! Недоброе число.

Двенадцать надо – так, как в зодиаке:

В нем пять и семь – священных два числа [12, с. 105].

Как известно, зодиак состоит из 12 созвездий эклиптики. В нем семь небесных светил, связанных с семью днями недели (Солнце, Луна, Марс, Юпитер, Венера и Сатурн), и пять способов взаимного расположения созвездий (соединение, противостояние, тригональность — 120° , квадратичность — 90° и секстильность — 60°).

С текстами такого рода Кант и его читатели имели дело постоянно¹, и Кант не преминул воспользоваться своим примером, чтобы дать читателям взглянуть на сочетание чисел 5, 7 и 12 совсем с другой стороны — вне всякой астрологии и мистики.

А Гофман пародирует эту ситуацию, превращая Канта в колдуна. Он этим стихом утверждает синтетический характер данного суммирования, вторя Канту: силы прибавляются помимо или в дополнение к суммируемым и представленным в простых числах силам. Их, правда, все равно окажется недостаточно для свершения метаморфозы Бергансы в Монтиеля. Единственное, что удалось ведьмам, — это дать возможность Бергансе увидеть своего двойника. Видение свое он описывает так:

Когда я снова пришел в себя, то лежал на земле; я не мог шевельнуть ни единой лапой; семь привидений сидели на корточках вокруг, гладили и мяли меня своими костлявыми ручищами. Моя шерсть сочилась какой-то жидкостью, которой они меня умастили, и неописуемое чувство дрожью пронизывало мое нутро. Казалось, я должен выскочить из своего собственного тела, временами я буквально видел себя со стороны, видел лежащего там второго Бергансу, но это же я сам и был, и тот Берганса, что видел под руками ведьм, был тоже я, и этот лалял и рычал на лежащего и призывал его хорошенько покусать ведьм и мощным прыжком выскочить из круга, а тот, что лежал... Но что это! Зачем я утомляю тебя, — обращается он к Гофману, — описывая состояние, вызванное адским колдовством и разделившее меня на двух Берганц, которые боролись друг с другом [2, с. 104].

Что это: насмешка над идеей Канта о существовании и даже решающей роли синтетических суждений *a priori* в любом теоретическом познании, а не только в математике, или восхищение необычной мощью мысли скромного кёнигсбергского бюргера, ставшего выдающимся профессором-философом, для которого слишком мала обычная человеческая мера? Мера, которая заставляет думать о противоестественности, о сверхчужественности этого философского гения? Писатель своей точки зрения не навязывает. Думай об этом соответственно сути твоего *собственного разума!* Sapere aude! По крайней мере, гениальная сила творца трансцендентального идеализма менее способна удивлять и больше соответствует законам нашего мира, нежели способность животных по-человечьи говорить. Гофман не раз пародировал Канта и его творчество, привлекая тем самым внимание к его идеям. Можно здесь упомянуть в этой связи Канта-профессора Зороастра, обучавшего некогда волшебника Проспера Альпануса из сказки «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» [см. 5, с. 70–71]. Иначе как таинством силу мысли бессмертного кёнигсбергского профессора не назовешь.

¹ См., например, письмо Канта И.Г. Гаману от 06.04.1774 г., русский перевод которого опубликован в этом номере журнала на с. 90–91.

Этология *versus* антропология

...Привычки мышления столь же легко превращаются в «любимые» привычки, как и все другие. И особенно легко это происходит, когда мы не создаем такие привычки сами, а перенимаем их у великого и почитаемого учителя.

К. Лоренц. *Восемь смертных грехов цивилизованного человечества*

Тем не менее глубокое уважение к профессору и восхищение его гением не лишают Гофмана самостоятельности мысли: он философски профессионально дополняет Канта, будучи не меньше философа искушен по части прагматической антропологии — в знании человеческой психологии, в движениях человеческой души. Гротескное столкновение человечности в животном и животности в человеке обостряет внимание к нравственно-психологическим и просто психологическим проблемам. Барочный гротеск наполняется здесь Сервантесовым смыслом: животное и человеческое начала не уравновешены и не амбивалентны, а взаимно обращены, так что собаки предстают перед нами как добрые и хорошие люди, а люди — как отвратительные злобные животные. Нравственное обращение возможно, а вот психосоматическое — нет.

В новелле «Известие о дальнейших судьбах собаки Берганца» Э.Т.А. Гофман осуществляет пока еще пробный подступ к проблеме сущности *человеческой природы*, сущности человечности, пробный подступ к ответу на важнейший не только мировоззренческий, но и мироустроительный вопрос: что же делает человека человеком? Нельзя же отвечать на этот вопрос так, что человек — это вертикально к плоскости земли и при этом на двух ногах передвигающееся существо. Человек, что само собой разумеется, — животное вида *homo sapiens*, но не биология в этом виде антропоидов главное. Хотя от того, что человек — живое существо, никуда не денешься. И часто куда больше просто животное, чем разумное животное.

Автор «Фантазий в манере Калло» строит новеллу в том же театрализованном виде диалога, в каком за двести лет до этого Сервантес написал свои «Назидательные новеллы», с тем отличием, что у последнего новелла написана как диалог собак, а у Гофмана с собакой разговаривает рассказчик, то есть сам он. Разговор Гофмана с Берганцой протекает в безлюдном ночном парке, и воспоминания собаки навяли и обострили и без этого витающие в пугающей непроницаемо-черной пустоте ночные страхи и кошмары. А потому автор поспешил сменить тему разговора, увести его подальше от какой-либо дьяволиады. Такой темой становится психологическая проблема произвольной и произвольной памяти. Первая является общей для человека и животного, вторая же — свойственна только человеку:

Я. Воистину, Берганца, эта сцена взволновала меня, но я поражен тем, что ты, в притушенных чувствах, так хорошо запомнил песни ведьм. — Беседа переходит к свойствам памяти, к одной из когнитивно-психологических проблем.

Берганса. Помимо того, что они сто раз провизжали свои ведьмачьи стихи, сказалось и сильное впечатление и муки от их напрасных колдовских ухищрений — все это глубоко запало в меня и невольно пришлось на помощь

моей и без того верной памяти. — И тут многоопытный пес излагает свое понимание психологии памяти. — Ведь собственно память, в более высоком смысле, заключается, я полагаю, лишь в очень живой, подвижной фантазии, которая, получив толчок, может, будто силой волшебства, оживить каждую картину прошлого со всеми присущими ей красками и всеми ее случайными особенностями. По крайней мере, я слышал, как это утверждал один из моих бывших хозяев, обладавший поразительной памятью, несмотря на то, что он редко запоминал имена и годы.

Я. Он был прав, твой хозяин, и надо сказать, что со словами и речами, которые глубоко проникают в душу и которые ты впитываешь в себя до сокровеннейших глубин сознания, дело тоже обстоит иначе, нежели с вокабулами, выученными наизусть [2, с. 105].

Этот экскурс о свойствах памяти инициирован «Антропологией с прагматической точки зрения» Канта; аргументом в пользу такого утверждения может служить его структурное тождество с разделом Кантовой книги под названием «О памяти». Однако обращает на себя внимание и то, что Кант писал об этой проблеме еще в «Предисловии» к своему рассчитанному на внимание широкой публики труду: «Тот, кто размышляет о природных причинах, например, о том, на чем основана способность памяти, может, конечно (вслед за Декартом), предаваться умствованию об остающихся в мозгу следах впечатлений, оставленных ощущениями, но при этом должен сознаться, что в этой игре своих представлений он не более чем зритель и вынужден предоставить все природе, ибо ему не известны нервы и волокна мозга и не ведомо, как пользоваться ими для осуществления своего намерения. Тем самым всякое теоретическое умствование такого рода — просто пустая трата времени. — Конечно, прагматических рекомендаций по сохранению или развитию и совершенствованию памяти в этом случае дать нельзя. И философ продолжает. — Если же он использует восприятие того, что *препятствует или способствует памяти* (курсив мой. — Л. К.), чтобы расширить ее или сделать более гибкой, и применяет для этого знание о человеке, то это уже составит часть антропологии с *прагматической точки зрения...*» [7, с. 138–139].

Разумеется, нейрофизиологического аспекта памяти Гофман не касается: тут он с Кантом согласен; но он решительно не согласен с тем, что *умствования о природных причинах* произвольной силы или слабости памяти не могут составить интереса для прагматической антропологии и представляют собою «пустую трату времени». Сознание человека как живого существа не может быть всегда и во всех случаях и жизненных ситуациях сосредоточено на каком-то произвольно выделенном предмете. Вот и Берганца во время обряда превращения, совершаемого над ним ведьмами, оказался в совершенно расслабленном состоянии, почти полностью лишился воли. И если произвольное запоминание, определяемое большим числом повторений, не интересует Канта: важно обладать *методикой* быстрого запоминания, всемерного сокращения числа повторений при заучивании нужного текста; то Гофману важна эта произвольность как бы впечатывания в сознание непонятных, таинственных стихотворных строф, и Берганца говорит, что песня ведьм прозвучала над ним множество раз.

Кант фиксирует свое внимание на *собственно человеческой*, то есть «произвольной памяти», Гофман же — на свойствах памяти произвольной. Поэтому и оценка роли фантазии в процессах запоминания и воспоминания у них диаметрально различна. Кант по этому поводу пишет: «Память

отличается от репродуктивного воображения тем, что она способна *произвольно* (курсив самого Канта. — Л. К.) воспроизводить прежнее представление, что душа, следовательно, не становится просто игрой воображения. Фантазия, то есть творческое воображение, не должна вмешиваться в это, ибо тем самым память стала бы неверной» [7, с. 205]; а мы помним, что Берганца склонен вообще свести память к живости и силе фантазии, в чем Гофман собаку охотно поддержал. *Репродуктивное воображение* для него — вид памяти, нуждающийся в фантазии как раз для того, чтобы достичь репродукции максимально успешно. Эпизод этот свидетельствует об антропологических интересах писателя, о пристальном внимании к вопросу о двойственной природе человека, которая заключает в себе природу живого существа вообще и разумного живого существа.

Канта как философа занимают свойства разумности человека и условия воспитания разума, писатель же имеет дело с человеком как таковым. Перед ним человек предстает не только в его идеале, когда разумное начало в нем господствует и перестраивает, преобразует животное начало в человеке. Часто этого не случается: веления разума отступают под натиском животных аффектов и страстей. Нередко же вообще разумно-рассудочное поведение оказывается недоразвитым, несформировавшимся во всей своей необходимой полноте. В этом случае разум о себе и не заявляет, оставаясь лишь невостребованной потенцией со всеми вытекающими отсюда следствиями.

Canidae aut Hominidae? Какому из родов свойственна мораль?

Хочешь себя разгадать — посмотри на поступки другого.
Хочешь другого познать — в сердце свое загляни.

Ф. Шиллер. Ключ

...Человеческий скот (Nutzmenschen), если дозволено ввести такой термин по аналогии с «домашним скотом» (Nutztiere).

К. Лоренц. Восемь смертных грехов...

Разумеется, в «Известии о дальнейших судьбах собаки Берганца» ответ на этот вопрос предрешен. Если Э. Т. А. Гофман и в самом деле задумал создать вместе с великим испанцем единое метатекстовое произведение, а я в этом нисколько не сомневаюсь, то он обязан дать его только в пользу собак, наделенных Сервантесом подлинным благородством. Так оно на деле и происходит.

Никакого стремления стать человеком и содействовать желаниям старрой Каньисарес Берганца не обнаруживает. Напротив, он откровенно рад, что все колдовские манипуляции Каньисарес превратить его в Монтиеля не удалось, и шкура собаки веселит и переполняет его гордостью. Поскольку беседующий с ним Гофман этим обстоятельством удивлен, Берганца ему отвечает: «Если бы я, с моей искренней приверженностью ко всему доброму и истинному, с моим глубоким презрением ко всему поверхностному, к чуждой всего святого суетности, охватившей сегодня большую часть людей, мог бы собрать воедино весь мой ценный опыт, богатство так называемой жизненной философии, и явился бы в представительном человеческом облике! Спасибо тебе, Дьявол, что ты дал колдов-

скому зелью бесцельно плавиться у меня на спине! Теперь я, собака, лежу незамеченным за печкой и с издевкой, с глубокой насмешкой, коей заслуживает ваша мерзкая пустая надутость, насквозь, до глубины вижу вас, человечков, вашу натуру, которую вы обнажаете передо мной без стыда и совести» [2, с. 117].

Ведьминская мазь, призванная очеловечить Берганцу, каждую годовщину со дня этой процедуры действует на него: возникают вдруг в душе пса человекоподобные чувства и желания, «как только наступает этот злосчастный день и близится роковой час». *Человекоподобными* называю их я, собака же считает их выраженной сущностью человечности. И хоть злоупотребляю я цитированием слишком больших фрагментов гофмановского текста, но удержаться и не привести язвительной этой страницы не могу:

Как только наступает этот злосчастный день и близится роковой час, то сперва я ощущаю совершенно необычайный аппетит, который в другое время на меня никогда бы не напал. Мне хочется вместо обыкновенной воды выпить хорошего вина, поесть салата с анчоусами. Затем что-то заставляет меня приветливо вилять хвостом при виде людей, которые мне до смерти противны и на которых я обычно рычу. И дальше — больше. Собак, которые под стать мне по силе и храбрости, которых я обычно без страха одолеваю, я теперь обхожу стороной, зато маленьким мопсам и шпицам, с которыми я обычно охотно играю, теперь меня так и подмывает дать сзади пинка, потому что я знаю, что им будет больно, а отомстить они мне не могут. — Человечность внутри все растет и растет, и Берганца завершает свою речь так: наконец я — человек, я господствую над природой, которая лишь для того растит деревья, чтобы из них можно было делать столы и стулья, а цветы заставляет цвести, дабы их можно было в виде бутоньерки засунуть в петлицу. И вот, всходя таким образом на высшую ступень, я замечаю, что мною овладевает отупение и глупость и, все нарастая и нарастая, повергает меня наконец в бесчувствие [2, с. 106–107].

«Неужели таков *весь род людской?*» — спрашивает Гофман, и собака в ответ говорит, что за *ненамеренно* благие поступки, сколь они ни редки, он чрезвычайно людям благодарен. Ну, могут люди пощекотать за ушами, что им самим доставляет не меньшее удовольствие: они вон какие храбрые — собака-то страшная. Могут даже дать смачный кусок жаркого, но надо за это достать палку из холодной воды. Разве это «даяние и получение, куплю и продажу» [2, с. 117] можно назвать *благодеемием*?

И Берганса демонстрирует, что он достаточно хорошо знаком с важнейшими идеями Кантовой этики, хотя считает, что своими высоконравственными поступками собаки обязаны собственной природе рода *Canidae* (и ничему и никому больше). Если людям свойственно, как Кант его называет, *легальное* поведение, лишь по форме совпадающее с моральным, но имеющее подчас очень далекие от морали мотивы, то собаки способны совершать подлинно нравственные поступки, для которых характерно то, что только моральный закон — категорический императив Канта — играет мотивирующую роль в их совершении. Кант писал, что выявить такого рода поступки необычайно трудно, ибо очистить мотивацию поведения от привходящих, посторонних по отношению к морали мотивов бывает почти невозможно.

Однако это трудно сделать Канту, Берганца же находит без труда примеры подлинного *благодеемием* в поведении своих друзей-собак. Чтобы объ-

яснить, что же он понимает под *благодеянием* как чистым, исключительно моралью мотивированным поступком, Берганца рассказал следующую историю: «Мой друг Сципион, которому тоже иногда жилось плохо, служил в то время в деревне у одного богатого крестьянина, человека жесткого, который есть ему почти не давал, зато частенько угощал изрядной порцией колотушек. Однажды Сципион, чьим пороком отнюдь не было пристрастие к лакомствам, только с голоду вылакал горшок молока, и хозяин, который это обнаружил, избил его до крови. Сципион быстро выскочил из дома, чтобы избежать верной смерти, так как мстительный крестьянин уже схватил железную мотыгу. Сципион мчался по деревне, но, пробегая мимо мельничной запруды, увидел, что трехлетний сынишка крестьянина, только что игравший на берегу, упал в поток. Мощный прыжок — и Сципион очутился в воде, схватил мальчонку зубами за платье и благополучно вытащил его на зеленую лужайку, где тот сразу пришел в себя, заулыбался своему спасителю и стал его ласкать. Однако Сципион пустился наутек со всей прытью, на какую был способен, чтобы никогда больше не возвращаться в эту деревню. Видишь, друг мой, это была чисто дружеская услуга. Прости, если подобный пример со стороны человека мне как-то сразу не приходит на ум» [2, с. 118].

Как видим, в поступке Сципиона исключены все иные мотивы, кроме морального, — вот он моральный поступок в чистом виде. Как писал Кант: «Границы между нравственностью и себялюбием столь четко и резко проведены, что даже самый простой глаз не ошибется и определит, к чему относится то или другое» [8, с. 354]. Ведь Сципион совершил свой поступок совершенно бескомпромиссно, не взвешивая никаких мотивов. Он не хотел никакой благодарности, отплатив добром за причиненное ему зло. Максима этого поступка, то есть правило, которому следовал Сципион, соответствует категорическому императиву как абсолютному закону морали в двух важнейших его формулах. «Основной закон чистого практического разума», получивший у этиков название формулы генерализации, гласит: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства» [8, с. 347]. Максима Сципионовой воли действительно может иметь силу всеобщего закона: тонущего ребенка должно во что бы то ни стало спасать. Только этой максимой он и руководствовался. И вторая формула категорического императива, называемая формулой конечной цели, а именно: «поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» [9, с. 270], полностью выражает суть совершенного Сципионом деяния: тонущий ребенок был для него целью самой по себе. При этом максима поступка предстает в своей самой жесткой форме, так как к спасенному ребенку добродетельный пес ни в малейшей мере не относился *как к средству*, а это отношение формула конечной цели позволяет.

Тем самым логику Мигеля Сервантеса Гофман при помощи философско-этической концепции Канта доводит до предела, продемонстрировав абсолютную меру человечности животных, хотя и домашних и одомашненных самыми первыми из всех прирученных животных, и в то же время — скотоподобие людей.

* * *

Новелла о беседе Гофмана с обладающим речью псом Берганцей сыграла роль затравки и пробного камня на пути к роману о «Житейских воззрениях кота Мурра...» Она объявляется в самом центре великого романа, когда, вызванный обнаружившимся творчеством кота, возник спор о мыслительных способностях животных: некий романтически настроенный «серьезный господин», обращаясь к профессору эстетики, шеллингианцу, а потому явному романтику, заявляет: «Если мне память не изменяет, дорогой эстетик, вы упоминали только что о пуделе Понто. Именно он доложил вам о поэтических и ученых интересах кота. Это напоминает мне историю прославленного еще Сервантесом превосходного пса Берганцы, последние приключения которого описывает *новая, необычайно занятная книга!* (Курсив мой. — Л. К.) Именно этот пес являл собой убедительный пример наличия у животных немалых природных способностей, а также и того, что четвероногим явно присуща восприимчивость к наукам» [3, с. 214].

Ведь это Берганца, как хороший философ, специализирующийся в философии искусства, утверждал: «...Драматург должен знать не столько *людей*, сколько *человека*. Взгляд истинного поэта проникает в человеческую натуру до ее сокровенной глубины...» [2, с. 146]. Такой логической силой мысли нельзя не восхищаться, и Гофман говорит ему: «...Ты сам высказываешь столько поэтического чутья, даже обладаешь искусством поэтической выразительности, так что я, поскольку ты вряд ли когда-нибудь сможешь воспользоваться для письма своей лапой, хотел бы всегда быть твоим писцом и записывать за тобой каждое слово...» [2, с. 139].

Кот Мурр, обладая несколько более ловкой лапой, овладел искусством письма, но, в отличие от Берганцы, обвиняется то и дело в плагиате. В романе соотношение умственных способностей животных и человека уже не сервантесовское. По судьбе Мурра можно заключить, что семейство Felidae (кошачьих) уступают в способностях даже семейству Canidae (псовых), поскольку именно пудель Понто учит Мурра, надо сказать безрезультатно, ориентировке в пространстве, обучает разбираться в мотивах поведения людей... — преподает ему практические уроки.

Даже некоторые сюжетные ходы, намеченные в новелле, повторяются в знаменитом романе.

Однако куда важнее тот факт, что новелла инициировала в сознании Гофмана интерес к сокровенным контрверзам *природы* человека. Писатель обращается к изучению таких поздних сочинений Канта, как «Антропология с прагматической точки зрения» или «Религия в пределах только разума». В морали вслед за Кантом видит он меру человечности. Только моральный человек разумен в подлинном смысле слова «РАЗУМ».

Список литературы

1. Гёте И. В. Фауст / пер. Б. Пастернака // Собр. соч.: в 10 т. М., 1976. Т. 2.
2. Гофман Э. Т. А. Известие о дальнейших судьбах собаки Берганца // Собр. соч.: в 6 т. М., 1991. Т. 1.
3. *Его же*. Житейские воззрения кота Мурра // Э. Т. А. Гофман. Крейсериана. Житейские воззрения кота Мурра. Дневники. М., 1972.

4. Калинин Л. А. Постулаты практического разума в свете кантовской философии истории // Кантовский сборник. Вып. 8. Калининград, 1983.
5. *Его же.* Эрнст Теодор Амадей Гофман и Иммануил Кант. Художественная фантазия и отвлеченная философия: загадки «Крошки Цахеса...» // Кантовский сборник: науч. журн. 2008. №1 (27).
6. *Кант И.* Прологомены ко всякой будущей метафизике... // Соч.: в 6 т. М., 1963–1966. Т. 4 (1).
7. *Его же.* Антропология с прагматической точки зрения // Собр. соч.: в 8 т. М., 1994. Т. 7.
8. *Его же.* Критика практического разума // Соч.: в 6 т. М., 1965. Т. 4 (1).
9. *Его же.* Основы метафизики нравственности // Там же.
10. *Его же.* Критика чистого разума // И. Кант. Соч. на немецком и русском языках. М., 2006. Т. 2 (1).
11. *Сервантес М.* Новелла о беседе, имевшей место между Сишионом и Бергансой, собаками госпиталя Воскресения Христова, находящегося в городе Вальядолиде за воротами Поединка, а собак этих обычно называют – собаки Маудеса // Соч. М., 2002.
12. *Шиллер Фр.* Валленштейн. М., 1981.

Об авторе

Калинников Леонард Александрович – д-р филос. наук, проф. кафедры философии исторического факультета Российского государственного университета имени Иммануила Канта, kant@kantiana.ru

About the Author

Prof. Dr. Leonard Kalinnikov, Department of Philosophy, Faculty of History, Immanuel Kant State University of Russia, kant@kantiana.ru